# Толстой

***Картина в хрестоматии: босой
 старик. Я поворачивал страницу,
 мое воображенье оставалось
 холодным. То ли дело — Пушкин: плащ,
 скала, морская пена… Слово «Пушкин»
 стихами обрастает, как плющом,
 и муза повторяет имена,
 вокруг него бряцающие: Дельвиг,
 Данзас, Дантес,— и сладостно-звучна
 вся жизнь его,— от Делии лицейской
 до выстрела в морозный день дуэли.
 К Толстому лучезарная легенда
 еще не прикоснулась. Жизнь его
 нас не волнует. Имена людей,
 с ним связанных, звучат еще незрело:
 им время даст таинственную знатность,
 то время не пришло; назвав Черткова,
 я только б сузил горизонт стиха.
 И то сказать: должна людская память
 утратить связь вещественную с прошлым,
 чтобы создать из сплетни эпопею
 и в музыку молчанье претворить.
 А мы еще не можем отказаться
 от слишком лестной близости к нему
 во времени. Пожалуй, внуки наши
 завидовать нам будут неразумно.
 Коварная механика порой
 искусственно поддерживает память.
 Еще хранит на граммофонном диске
 звук голоса его: он вслух читает,
 однообразно, торопливо, глухо,
 и запинается на слове «Бог»,
 и повторяет: «Бог», и продолжает
 чуть хриплым говорком,— как человек,
 что кашляет в соседнем отделенье,
 когда вагон на станции ночной,
 бывало, остановится со вздохом.
 Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,
 теперь мигающих подслеповато,
 яснополянский движущийся снимок:
 старик невзрачный, роста небольшого,
 с растрепанною ветром бородой,
 проходит мимо скорыми шажками,
 сердясь на оператора. И мы
 довольны. Он нам близок и понятен.
 Мы у него бывали, с ним сидели.
 Совсем не страшен гений, говорящий
 о браке или о крестьянских школах…
 И, чувствуя в нем равного, с которым
 поспорить можно, и зовя его
 по имени и отчеству, с улыбкой
 почтительной, мы вместе обсуждаем,
 как смотрит он на то, на се… Шумят
 витии за вечерним самоваром;
 по чистой скатерти мелькают тени
 религий, философий, государств,—
 отрада малых сих… Но есть одно,
 что мы никак вообразить не можем,
 хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
 корреспондентам на пожаре, вкруг
 его души. До некой тайной дрожи,
 до главного добраться нам нельзя.
 Почти нечеловеческая тайна!
 Я говорю о тех ночах, когда
 Толстой творил, я говорю о чуде,
 об урагане образов, летящих
 по черным небесам в час созиданья,
 в час воплощенья… Ведь живые люди
 родились в эти ночи… Так Господь
 избраннику передает свое
 старинное и благостное право
 творить миры и в созданную плоть
 вдыхать мгновенно дух неповторимый.
 И вот они живут; все в них живет —
 привычки, поговорки и повадка;
 их родина — такая вот Россия,
 какую носим мы в той глубине,
 где смутный сон примет невыразимых,—
 Россия запахов, оттенков, звуков,
 огромных облаков над сенокосом,
 Россия обольстительных болот,
 богатых дичью… Это все мы любим.
 Его созданья, тысячи людей,
 сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
 окрашивают даль воспоминаний,—
 как будто впрямь мы жили с ними рядом.
 Среди толпы Каренину не раз
 по черным завиткам мы узнавали;
 мы с маленькой Щербацкой танцевали
 заветную мазурку на балу…
 Я чувствую, что рифмой расцветаю,
 я предаюсь незримому крылу…
 Я знаю, смерть лишь некая граница:
 мне зрима смерть лишь в образе одном,
 последняя дописана страница,
 и свет погас над письменным столом.
 Еще виденье, отблеском продлившись,
 дрожит, и вдруг — немыслимый конец…
 И он ушел, разборчивый творец,
 на голоса прозрачные деливший
 гул бытия, ему понятный гул…
 Однажды он со станции случайной
 в неведомую сторону свернул,
 и дальше — ночь, безмолвие и тайна…***